Яков Минченков

Корин Алексей Михайлович

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Пожалуй, никто из преподавателей Московского училища живописи не пользовался среди учащихся такой симпатией, как Корин. В его натуре была необычайная теплота, скромность и искренняя готовность оказать всяческую помощь ученикам. И внешность его – спокойная, особо мягкая – отвечала его характеру. Запомнилось его слегка смуглое лицо с нависшими густыми черными прядями волос, из-под которых глядели вдумчивые, немного грустные глаза…»

- Яков Данилович Минченков
  -
  - Примечания

Яков Данилович Минченков
Корин Алексей Михайлович

Пожалуй, никто из преподавателей Московского училища живописи не пользовался среди учащихся такой симпатией, как Корин.

В его натуре была необычайная теплота, скромность и искренняя готовность оказать всяческую помощь ученикам.

И внешность его – спокойная, особо мягкая – отвечала его характеру. Запомнилось его слегка смуглое лицо с нависшими густыми черными прядями волос, из-под которых глядели вдумчивые, немного грустные глаза.

Речь его была ровная, спокойная, голос – мягкий, густой баритон. Он никогда не сердился, не повышал тона, а, указывая на ошибки ученика, как будто советовался с ним о мерах для исправления недочетов, не прибегая к своему преподавательскому авторитету. Если ученик приводил веские доводы в защиту свой работы или своих особых взглядов на искусство, Алексей Михайлович, не стесняясь, соглашался с ним и говорил:

– А пожалуй, и верно, уж лучше оставьте так, как есть, а то я боюсь, чтоб не навязать вам своих взглядов и своих ошибок.

Он преподавал в головном классе, куда был выбран по окончании того же Училища живописи. Путь учебы его был тяжелый. С детства он работал под руководством отца, палехского крестьянина-иконописца. Двенадцати лет был отдан в иконописную мастерскую к известному тогда художнику Шокалову, а в семнадцать лет поступил в Училище живописи в фигурный класс, так как был солидно подготовлен по рисунку и живописи. До школы он прошел все иконописное ремесло, знал его в совершенстве, и оно выручало его потом в минуты нужды, как и мешало ему в живописи.

Учителями его были старые классики братья Сорокины, Павел и Евграф, а затем Прянишников и В. Маковский. Рисовал и писал этюды в школе Корин превосходно, получал почти всегда первые номера. Более всех дал ему Прянишников, талантливый представитель нового тогда течения в искусстве – реализма. Сорокины доживали свой век в ложном классицизме, закрыв глаза на русскую действительность. Павел Сорокин не выделялся, кажется, ничем, кроме своей замкнутой жизни и богобоязненности. Последним его качеством пользовались хитрые ученики. Желая заполучить Сорокина для исправления своей

работы, они прикидывались тихонями и надевали на себя маску благочестия.

Особенно отличался в этом ученик Н. Он обращался к П. Сорокину за указаниями. Тот смотрел на рисунок и говорил.

– Не стараешься, и потому плохо. Старайся, голубчик, старайся.

Ученик жаловался:

– Я и то стараюсь изо всех сил, из кожи, можно сказать, лезу, а вот не выходит что-то. Должно, меня господь обидел.

– Не ропщи, – говорил Сорокин, – а лучше обратись к нему с молитвой.

– А разве я против этого? – продолжал Н. – Я уже и в Троице-Сергиево ездил.

– Ездил? Это хорошо, молодой человек, это тебе помочь может. Пусти-ка меня на свое место, у тебя на рисунке что-то ноги не ладятся, поубавь маленько.

А Н. напевал:

– Вяжу, что не выходят, а не знаю, как исправить. Между прочим, настоятель в Троице просил передать вам поклон.

– Настоятель, говоришь? А ты его знаешь? Спасибо, спасибо, дружок! Дай-ка уголек, я вот ноги урежу.

И Сорокин садился рисовать. Один раз Н. даже купил просфору в соседней церкви и принес ее Сорокину как подарок от архимандрита Сергиевской лавры, за что Сорокин исправил весь его рисунок, и Н. получил за него хороший номер.

Другой Сорокин, Евграф, славился как прекрасный рисовальщик. Про него говорили, что он может нарисовать натурщика по памяти, посмотрев на него один раз или начав рисунок с пальца на ноге натурщика. Конечно, если и было что-либо подобное, то рисунок был условным и едва ли мог передать действительную, живую натуру.

Московское училище живописи, ваяния и зодчества, содержавшееся на средства Московского художественного общества и имевшее в составе преподавателей молодые силы, более отвечало запросам времени, чем Академия художеств. В нем царил живой дух и была уже увязка с русской действительностью; оно шире открывало двери талантливой молодежи из разных, преимущественно бедных, слоев общества, стремившейся к искусству со всех концов России.

Учились в Училище – подросток крестьянский, маляр, монах-иконописец, студент университета, был даже старый генерал в положении вольного посетителя. А вольные посетители ничем не отличались от учеников, к ним предъявлялись по искусству общие для всех требования, они избавлялись только от занятий

по наукам.

Генерал, когда аудитория притихала за работой, часто декламировал любимые им стихи Жуковского:

Окрест него могучий бор,
Утё-осы под ногами,
Туманен вид полей и гор
– Тума-а-ны над водами…

и спрашивал преподавателей, когда к нему придет вдохновение.

Прянишников отвечал:

– Потерпите, ваше превосходительство, немножечко осталось, скоро и у вас появится.

Корин, учась в училище, должен был зарабатывать на свое существование: писал образа, портреты и все, что давало хоть некоторый заработок. Жил он в знаменитой Ляпинке – общежитии для учащихся, построенном купцом Ляпиным. Там в комнатах по три-четыре человека теснилось студенчество, не имевшее средств платить за частную квартиру. Жизнь в Ляпинке, как и в Училище, слагалась в настоящую богему. Здесь процветало озорство, дебош и зарождалось пьянство. Много талантливых натур получало здесь злокачественную прививку, калечившую в дальнейшем их жизнь. Не избежал всего этого и Корин. Его мягкая, а порой слабая натура не могла бороться с влиянием прежних друзей-иконописцев, у которых слово «веселие» непременно связывалось с глаголом «пити». Они являлись к нему, когда он перешел из Ляпинки в номера, с выпивкой и закуской и тянули его в тину низкопробной богемщины.

Когда более стойкие товарищи советовали Корину попросту гнать от себя кутил, он говорил: «Знаете ли, как-то неловко, могут обидеться», – и волей-неволей разделял с ними компанию.

Его учитель Прянишников говорил про учеников Училища живописи, что они щенки, брошенные в реку, и только сильный из них выплывает на берег, слабые должны потонуть.

Корин был сильным в своих способностях к искусству, это держало его на поверхности воды.

В этой борьбе за место в искусстве было «горе побежденным и трижды горе!»

Корин бился и выплыл к берегу, а рядом с ним тонули слабые. И эти тонущие тоже встают в моей памяти, как щемящие сердце листы давно прочитанной грустной книги.

Учился, старался постичь тайны искусства, овладеть его

техникой крестьянин-рабочий Волгужев.

Он умел управлять паровой машиной и летом работал на молотилке. Собрав за лето несколько денег, он на зиму приезжал в Москву и принимался за живопись. Был он уже не молод, обросший бородой, с мелкими чертами лица мужичка-полевичка. Голубые детские глаза и чисто крестьянская речь с выговором: «Ну, чаво там!»

Искусство захватило его всего, оно было его религией, пронизывало всю его жизнь, и в нем он находил смысл и утешение.

Несчастье его было лишь в том, что в натуре его не было тонкого чутья и понимания красоты, необходимых для воплощения художественного образа. Он думал, что все дается лишь упорным трудом, как в простом ремесле, и потому не отчаивался и работал до упаду. С трудом через долгое время дошел до натурного класса и здесь застрял окончательно. Он бесконечно рисовал и писал обнаженную натуру и никак не мог понять, чего недостает в его работе, почему он отстает от других и не получает хорошей оценки от преподавателей.

Волгужев барахтался, стараясь держаться на поверхности, на уровне школьных требований.

Вспоминается еще Позднеев. Тот уже совсем начал тонуть и опускаться до подводной тины. Отчаявшись взобраться на вершины, куда карабкались его школьные товарищи, он изуверился в себе и решил, что достаточно, если навыки, некоторая умелость в искусстве дадут ему возможность существовать без голода, а иногда и выпить. Он начал постигать сладость утешения в вине и постепенно превращался в алкоголика…

Корин со временем становится значительной фигурой – преподавателем Училища живописи. Он женится, обзаводится приличной квартирой и, постепенно втягиваясь в круг интеллигентско-буржуазной жизни, начинает платить налог за свое в ней пребывание. Все расходы, вызванные этой жизнью, не могут покрываться службой в Училище, он вынужден отдаваться заказной работе, тяжелой и вредно отзывающейся на творчестве художника. Он бьется в тисках этой жизни, изнемогает под тяжестью житейских требований, но деваться ему уже некуда. Поставив себя на рельсы кажущегося благополучия, он по инерции катится дальше, не зная, что ожидает его впереди.

А Волгужев в летнюю жару молотит и молотит хлеб, чтобы зимой снова иметь возможность рисовать и писать в школе.

Когда он работал на молотилке в Тульской губернии, около Ясной Поляны, его увидел там Толстой и говорит:

– А что, Иван Алексеевич, не лучше ли вам работать в деревне, среди крестьян по хозяйству, чем в городе заниматься искусством?

Волгужев, весь в пыли и полове, ответил:

– Нет, Лев Николаевич, – надо так, чтобы на общий пирог каждый поровну поработал. Я уже на свой кусок давно намолотил, теперь вы молотите, а мне можно и искусством заняться.

Волгужев не благоговел перед авторитетами, хотя и признавал их значение. Для него все люди были равны, и он со всеми держал себя на равной ноге, говорил с ними попросту, по-крестьянски.

Спрашивали у него про Толстого, и он отвечал:

– Ничаво! Лев Николаевич мужик дюже умный и правду ищет.

– Ну что ж, по-вашему, нашел он правду?

– Не, не нашел! – мотал головой Волгужев. – Вот и с Соловьевым мы по душам говорили, а вижу, что и он до правды не докопался.

– Почему так? – приставали к Волгужеву.

– Потому – правда сквозь землю прошла. Ты пойми, мой друг, сколько веков вот жили люди, и премудрые Соломоны, и ученые были – а правды не нашли, и хоть сходственно, а все по-разному говорили. И будет правда все без конца меняться.

Позднеев совсем оставил Училище, жил на окраине города, рисовал тушью портреты с карточек, стараясь молодить женщин, а у военных мужчин вычеканивая ордена и ясные пуговицы. Все чаще и чаще утешался бутылкой и тогда навеселе, воевал с бутошниками, как называл он городовых, в которых видел причину всех бед. У него мир делился на две половины: люди – граждане, творящие жизнь, и бутошники, мешающие их работе. Бутошники всех рангов, начиная с городового и околоточного и кончая высшими чинами, вплоть до царя.

– Все мы под сапогом бутошника, – говорил он, – и надо с ним воевать, подрывать веру в благодетельную власть бутошников. Люди, что посильнее, борются с ними всерьез, а мы, маленькие, хоть язык им показывать будем, дразнить их и посмеиваться. Вот выпью и подразню их немного.

И он делал это при каждом удобном случае. Если городовой в тесном переулке кричал на ломовых, едущих не той стороной, и украшал речь свою трехэтажными ругательными словами, Позднеев приставал к городовому с требованием вежливого обращения с гражданами-ломовыми. Городовой сперва посылал

Позднеева «по разным адресам», а потом отводил в участок, откуда тот часто возвращался с синяком или шишкой на лбу.

Дразнил он и жандармов у театрального подъезда. Обыкновенно при разъезде из театра жандармы вызывали кареты важных особ. Слышались выкрики: «Ея сиятельства княгини Ливен – которая?»

Позднеев в этот же тон кричал:

– Осади назад! Его светлости графа Бутырского – которая?

Виновного в толпе найти было трудно. Иногда, раздразнив полицию, он позорно бежал до первого трактирчика, где в дверях уже кричал: «Наливай!» Ему наливали стакан водки, и он едва успевал выпить, как его схватывали городовые и под руки вели в участок.

Сидит у меня на подоконнике Позднеев и смотрит в окно. Хоть и обещал он не приходить ко мне после трактирчика, но вижу, что был с ним грех, потому что начал вспоминать о бутошниках и повел рассуждение о том, какой был бы порядок, если б не было блюстителей порядка, а то обыватель никогда не привыкнет сам с собой управляться и ждет, чтоб его за шиворот по углам для порядка разводили.

Вдруг Позднеев срывается с места, схватывает фуражку и со словами: «принцип повелевает идти!» – убегает на улицу.

А там разыгралась такая сцена. Шел маляр с ведерцем красок и большой кистью на длинной палке, сел у подъезда противоположного дома и стал вертеть цигарку. Из подворотни залаяла маленькая собачка. Маляр начал тыкать кистью и дразнить ее. Был, видимо, выпивши. Собачка выскочила, укусила его за ногу и скрылась во дворе. Маляр выругался, постоял, подумал, взял ведерце и кисть и собрался уходить. Но тут подоспел Позднеев и стал ему доказывать:

– Нет, брат, извини, так дело нельзя оставить! Тебя укусила собака, а знаешь ли ты, какая она? Может, бешеная? Надо узнать.

И стал дергать ручку звонка у подъезда. В доме, видимо, заметили неладное на улице и не выходили на звонок. Позднеев неистово звонил. Собралась толпа, и подошел городовой.

Позднеев ораторствовал:

– Вы, граждане, обдумайте положение: гражданина маляра укусила собака, возможно, что бешеная.

А маляр уже поддакивал:

– Действительно, чума ее знает!

– Так вот, маляр вернется в свою артель, взбесится и перекусает своих товарищей, а те тоже кругом всех перекусают, что получится?

Маляр стал было возражать:

– Чего там кусаться, я бы помирился и на трешнице!

А Позднеев:

– Ни, ни! Сперва надо сделать вскрытие собачке!

– Известно, распотрошить! – опять соглашался маляр.

Тут выступил городовой и велел всем разойтись. Но приказ «бутошника» только подлил масла в огонь. Позднеев выхватил у маляра кисть, обмакнул в белую краску и стал в оборонительную позу. На свистки городового прибежали два дворника, но только сунутся к Позднееву – он их кропит правой рукой белилами с кисти, а левой все звонок дергает. Одному дворнику прямо в нос ткнул, и все лицо краской залепил.

Кончилось тем, что звонок оборвался, дворники изловчились, схватили Позднеева и повели в участок, куда пошла за ним и толпа.

Вечером на перемене в училищной курилке слышен был тоненький голосок Волгужева. Стоя в кругу товарищей, он жаловался:

– Вот вишь, какое дело искусство? Не потрафишь в нем. Там, на машине, измерил все кронциркулем – и будет верно, а тут так, что все как будто и правильно, а чего-то не хватает, и не поймешь, что оно, то малое, чего у тебя нет. Ну, да ничего! Молода елка – шишку даст! Надо, братцы, учиться! Понатужишься маленько, а оно – смотришь – и придет.

Голубые глаза его светились верой, на губах с подстриженными усами играла полудетская улыбка, а он, как крестьянин на сходке, поворачивался ко всем лопатистой бородой:

– Ничаво, чаво там!

По круглому с колоннами вестибюлю проходил в свой головной класс Корин. На нем темно-коричневый мягкий пиджак, и вся фигура мягкая, спокойная и скромная. Выражение лица сосредоточенное, деловитое. Он уже мастер, пользующийся известностью в обществе. Его картина «Больной художник» находится в Третьяковской галерее, и по заслугам: вещь реалистически прекрасно, светло написанная. Он учитель, его признают ученики и любят за правдивость, честность взглядов в искусстве и деликатность, с которой он относится к работам своих учеников. Никогда высокомерно не разносит, не унижает, а самым деликатнейшим образом и умело исправляет ошибки. Хороший человек был Алексей Михайлович.

Корин по своей технике, твердому рисунку, живописи мог бы

справиться с большим портретом и значительной картиной. Однако у него не хватало для этого силы воли и выдержки. Под натиском житейских требований, имея в виду продажу своих вещей, он занялся мелким жанром, прибегая к сюжетам, которые тогда любили видеть в картинах большое общество и покупатель. В картинах Корина все было хорошо, умело написано, но и настроения, и чуткого, тонкого понимания природы, пейзажа, который он часто вводил в свои картины, у него было мало.

В технику его живописи проникали навыки иконного письма. Но и под этим налетом чувствовался мастер и видны были большие его способности.

Показывая свои вещи перед отправкой на выставку, он, казалось, сознавал свою беду. Кряхтел и говорил басом:

– Вот, черт возьми! Как будто и понимал, как надо, а все же не то, запуталось что-то лишнее, чужое, и не могу с ним развязаться.

Волгужев учился, учился и решил:

– Наши учителя слишком молодые, что ли, не могут научить как следует. Поеду за границу, в Париже, говорят, Кормон нашего брата скоро отесывает.

Ранней весной оставил школу, отправился куда-то на заработки, летом до глубокой осени молотил хлеб, собрал деньги и решил ехать на зиму в Париж, вместе с двумя художниками, направляющимися к Кормону. Увидал меня – зовет:

– Приходи на вокзал провожать, в Париж еду, а не хочешь – не приходи, чаво там!

Провожая его, я спросил, как он будет обходиться за границей без знания иностранных языков. Он уверял:

– Обойдемся! Там народ умный, и так поймут, а нет – так со мной едет Т., он у француженки их грамоту изучал, в случае чего – поможет.

И уехал.

Позднеев возится со своими заказами-портретами, быстро затирает фоны черным порошком, лихо закручивает усы военным, раскрывает глаза на портретах, снятых с покойников. Получает по десятке за портрет и доволен, когда вечером, при свете закоптелой лампочки с прожженным бумажным абажуром у него стоит на столе веселая зеленоватая бутылка. Он уже не может держаться на поверхности и опускается ко дну житейского омута. Только в минуту просветления сознания бьет кулаком по столу и проклинает всех и все на свете.

А Волгужев катит к Парижу с полной надеждой разгадать там загадку искусства, познать его тайны, вернуться в Россию мастером и здесь зашагать по широкому простору жизни. И по приезде в Париж он не изменил своего склада, остался тем же добродушным мужичком даже по внешности. Французы в ателье Кормона почему-то прозвали его Менеликом и сперва изрядно над ним потешались. Но в конце концов он своей безобидчивостью, бесприкословным исполнением всех правил распорядка студии и упорной работой обезоружил французов. Они удивлялись выносливости «Менелика» в работе, а он старался побороть рисунок и рисовал, рисовал без конца.

Став уже заведующим выставкой, я бывал у Корина, который из прежнего моего учителя стал для меня товарищем по передвижничеству.

Семья у него большая, славная. Две хорошенькие, похожие на него девочки прыгали к нему на колени и барахтались с ним на диване, а Алексей Михайлович смеялся густым добродушным смехом.

– Хорошо, – говорю, – тебе живется: работа, семья и домашний уют.

А он, отбиваясь от облепивших его дочурок и мотая головой, басил:

– Хорошо, ей-богу, хорошо, да только, знаешь ли, хлопот много. Ох, сколько приходится работать, чтоб было так хорошо! Вот за этой стрекозой, – он поднимал, смеясь, одну девочку, – я вижу заказной портрет генерала с карточки, а за спиной этой чепухи, – поднимал другую девочку, – большое панно в гостиной купца.

Девочки теребили ручонками его густую бороду, а он продолжал:

– Вот теперь надо поехать за границу, посмотреть, что там делается, да подучиться, стряхнуть нашу российскую плесень, – а для этого, значит, надо подработать денег, чтоб было что и с собой взять, да и здесь оставить. Приходится хомут надевать, в заказ запрягаться, тянуть эту бесконечную лямку. Иначе как же? Подумай сам. Теперь так. Когда работаешь для себя, для своего удовлетворения – изучаешь натуру и кое-чего достигаешь, а на заказе опять в отсебятину впадаешь, и куда все благоприобретенное тобой девается? Сразу сползаешь вниз, а там опять карабкаться на гору надо. Вот чертовщина-то! Надоело все это до смерти, а между тем для заграницы придется в Троице-Сергиеву лавру ехать обновлять иконостас. Там деньги верные, без которых Парижа не видать.

И он надевает снова лямку, отправляется добывать деньги, чтобы поехать в Европу, в Париж. Для него, для его дела это необходимо.

К Корину прилип и Позднеев. Он забегал ко мне и говорил, озираясь по сторонам, точно боялся, чтоб его кто не услышал:

– Знаете что? Допился я до краю, коленки и пальцы дрожат. Вижу сам, что дело дрянь, а захотелось мне еще попробовать… может, я того… как-нибудь сумею выкарабкаться? В Академию хочу поехать, там теперь Маковский, мой учитель, он мне поможет, а сейчас деньжат надо зашибить. Поеду с Кориным в Сергиево, там заработаю, а пить с сегодняшнего дня, ей-богу, не буду!

– Посмотрим, – говорю.

– Ни-ни как бог свят! – уверяет Позднеев. – Даже захотелось того… может, в самом деле, и я еще… ведь вы же меня понимаете!.. – и на глазах у него засверкали слезы.

– Поезжайте с Кориным, – говорю, – и держитесь, крепко держитесь за Академию.

Позднеев опрометью побежал покупать кисти.

В Троице-Сергиевой лавре работали, выколачивали рубли Корин и Позднеев. Первому нужны были деньги для поездки за границу, для расширения кругозора в искусстве, а второму – для попытки выбиться из омута, который его засасывал, для возможности поучиться в Академии.

Ожесточенно отмахивал большой кистью Корин по стенам и парусам собора, следом тянулся Позднеев. Он держал себя геройски: боролся со своим недугом и совершенно не пил. Сосал какие-то леденцы, глотал пилюли и пил особую микстуру, составленную для него почему-то фельдшером-ветеринаром. Все это как будто убивало в нем жажду алкоголя.

Когда работы над иконостасом были закончены, приехал митрополит на его освящение. С вечера была отслужена всенощная, митрополит удалился на отдых в свои покои, а приезжее из Москвы духовенство было приглашено монастырем на скромную вечернюю трапезу.

На нее просили пожаловать и художников, Корина и Позднеева.

Трапеза началась. За столами сидели со строгими лицами длиннобородые протоиереи, иереи, протодиаконы, иподиаконы, диаконы и старшая монастырская братия. Подавались различные закуски, грибные соленья, маринады, пироги с вязигой, растегаи, уха, рыба отварная, жареная, пироги сладкие, меда сотовые и жидкие и прочая съедобная всякая всячина в неизмеримом количестве. По разрешении вина и елея стояли и кувшины,

графины и бутылки с квасами, наливками, винами. Сначала все стоя пели тропари, потом садились, выпивали каждый по своему вкусу и потребностям, крякали, стучали вилками и ножами и с громким присвистом и прихрюкиванием втягивали в себя с ложек горячую уху. Постепенно лица у всех потели и прояснялись.

А когда появились на столе старые, потаенные бутылочки с напитками под названием «утоли моя печали», пение тропарей перешло на застольную песню: «Подноси сосед соседу – сосед любит пить вино!» Песня эта нравилась и Корину, он тоже не избегал соседства, а Позднеев почувствовал в окружающей обстановке широкое поле для своей деятельности я уже не мог сдержаться. Он завел дружбу со своим соседом – маленьким, худым, с лысиной и длинной сивой бородой иереем, аккуратно выполнявшим требование песни. Сосед оказался большим любителем колокольного звона, подбирал по тонам колокола и умел ловко на них звонить. Позднеев восторгался его способностями и доказывал, что это тоже великое искусство и что он, как и живописец, тоже художник. После этого они, скрестив руки, выпили на брудершафт и расцеловались. Позднеев что-то шептал иерею на ухо, а тот крутил головой.

За столом пошли споры. Один говорил, что не ту катавасию на всенощной пропели, а другой доказывал, что пить не в порядке стали – сразу большими стаканами, когда полагалось начинать с чарочки, равной большому персту до первого сустава. Митрополит, до которого доносились шум и пение, прислал узнать, что происходит. Ему ответили, что собрались святые отцы и готовятся на спевке к божественной литургии.

Шум и гам продолжались. Одни пели уже «Чарочка моя, серебряная», другие – не разберешь что. Корин, повернувшись спиной к столу и подперев обеими руками голову, гудел басом: «Мой костер в тумане светит», а Позднеев, взобравшись на скамью и подняв вверх обе руки, дирижировал вилкой всему хаосу.

Сосед Позднеева, носивший не соответствующее его росту и фигуре имя – Сила, стал выражать желание ударить в большой колокол на соборной колокольне. Позднеев ему говорил:

– Где тебе раскачать язык! Хоть и зовут тебя Силой, а ты настоящее бессилие!

Сила хвастал:

– А вот и ударю! Не таким колоколам на своем веку бока тесал!

– Врешь, не ударишь! – спорил Позднеев.

– Увидишь – как ахну! – горячился Сила.

Сила скрылся.

Снова пришел от митрополита посланный, принес отцам

благословение на покой и просил помолчать, так как владыка не может от шума заснуть.

Все было притихли. А в это время на колокольне понатужился отец Сила, раскачал тяжелый язык большущего колокола – и в полуночи загудело на всю округу:

– Бум!.. Бум!.. Бум!..

О том, что произошло от этого набата в монастыре, помалкивали…

В результате работы в лавре Корин поехал за границу, а Позднеев поступил в Академию к Маковскому.

Волгужев возвратился из Парижа и снова стал работать в натурном классе, где преподавал только что приглашенный в Училище Серов.

Спрашиваю у Волгужева, какого он мнения о Серове как преподавателе.

– Ничего, – говорит он, – не мешает. Ты не смотри, что Серов низенький, он на аршин в землю врос, свое дело понимает.

И снова рисует и пишет Волгужев, но теперь у него что-то не ладится, ему не присуждают ни за рисунок, ни за живопись медалей, необходимых для выпуска из Училища. Видимо, он уже устал. Сидит и на рисунке чертит французские буквы своей фамилии. Серов ему говорит:

– Что это вы пустяками занимаетесь, буквы выводите, а натурщика не рисуете.

Волгужев даже привскочил.

– Вам хорошо, Валентин Александрович, вы сюда с улицы пришли, человек свежий и талант, вас никакая школа не душила. А нашего брата этот маховик к самой земле прижал, надорвались мы, вот и передыхаем, буквы пишем.

Он становится раздражительным, прежнее спокойствие его покидает. Один раз вбегает в совет преподавателей:

– Чего вы нас держите, не выпускаете из школы? Большего от нас не добьетесь, видно, вы сами не знаете, как нас учить!

И все же работает, бьется, старается хоть кончить Училище. И пора: силы его слабели; от пережитых тяжелых условий жизни, труда и постоянного напряжения он заболел какой-то сложной внутренней болезнью и стал таять. Однако не жаловался ни на что и переносил болезнь на ходу.

Чувств своих и переживаний он не любил обнаруживать, однако и не был ко всему безучастным, только огонь его был скрыт где-то глубоко и горел невидимо для других.

Ставили в Москве памятник Гоголю. Лепил его наш товарищ – передвижник Н. А. Андреев (недавно, в 1932 году, умерший).

Мне немного пришлось позировать Андрееву, и я взял с него обещание прислать билет на открытие памятника.

А с открытием была беда: на месте торжества были устроены для публики огромные трибуны. И вот стали говорить, что трибуны не выдержат нагрузки и рухнут, произойдет несчастье. Строители трибун доказывали, что они прочные и ничем не угрожают. Свозили по ночам мешки с песком, грузили на трибуны для проверки прочности и в конце концов все же закрыли их для публики. В день торжества трибуны стояли вокруг памятника уныло пустынными.

Я получил билет и был на площадке у самого памятника, когда его открывал и принимал городской голова князь Голицын.

В расшитом мундире и треуголке на голове, он читал грамоту: «Принимая драгоценный дар сей, город обязуется свято хранить его» и т. д.

Оркестр и хор в две тысячи человек исполняли под дирижерством композитора Ипполитова-Иванова написанную для этого случая кантату. В продолжение долгого времени шли процессии с венками из живых цветов. У подножия памятника вырос скоро целый ярко цветущий холм. О многом говорилось здесь, пелось, много было разных надписей на лентах цветов, только забыто и ни разу не было упомянуто имя автора памятника. Как будто это талантливое произведение, хотя и с налетом модернизма, выросло само из земли и явилось по приказу важных особ в золоченых мундирах.

Автор памятника одиноко сидел на пустых трибунах, никем не потревоженный.

Процессии прошли, на площадке стало пусто, мы с Андреевым остались одни. Видим – бредет Волгужев, переступает канат, огораживающий площадку, и направляется к памятнику, а руку держит под пальто на груди.

– Иван Алексеевич! Что вы хотите делать? – спрашиваем у него.

Волгужев отзывается:

– Я-то? Меня чуть не задушили. Все сразу к памятнику. Говорю им: «Куда спешите? Чего вам делить?» А они знай прут, едва цветок не изломали.

– Какой цветок?

Волгужев вытаскивает из-под пальто маленький алый цветочек:

– Вот я принес. Дай, думаю, преподнесу ему, великому художнику. – Показывает на Гоголя: – Он, Гоголь-то, смеялся, а об нас скорбел! И вам, Андреев, спасибо, что его соорудили, спасибо, милая душа! – А потом добавил: – А цветочек все равно засох бы,

его совсем перестала поливать хозяйка.

Нагнулся и воткнул между пышных венков свой цветок, пошептал что-то и медленно побрел прочь, опираясь на палку.

Скоро он стал совсем плох, слег в постель и уже не мог подняться.

Средств у него не осталось никаких после заграницы. Товарищи собрали немного денег и упросили его взять взаймы для уплаты за квартиру и на другие расходы. В Училище присудили ему медали и прислали диплом на звание художника.

Уезжая на лето из Москвы, я пошел навестить больного вместе с художником Богатыревым, его товарищем по школе. Волгужев лежал на чистенькой постели (несмотря на бедность, он всегда любил опрятность). В маленькую комнатку светило солнце, с весенним ветерком сушило недавно вымытый некрашеный пол. На табуретке подле больного лежал ящик с красками, а на нем стакан с недопитым чаем и маленький кусочек французской булки.

Он встретил нас с ясным спокойствием. Лицо его выражало особое просветление, какое часто бывает у больных, уже примирившихся со своей участью.

– Ну, вот и хорошо, что пришли, – заговорил Волгужев. – Когда свободное время есть – заходите, и мне нескучно будет, а некогда, так не приходите. Мне ничего, хозяева хорошие, помогут, в чем надо.

Он говорил тихо, но свободно. Видимо, у него не было болей, он, как свеча, медленно догорал.

– Теперь я, значит, настоящий художник, с документами. Спасибо ям – прислали аттестат. Значит, я сделал все, что полагается в школе, а дальше не пошел бы, потому силушки не хватило бы. Видимое дело – так. Вы думаете, я тужу об этом? Нет! То, что я делал, – делал для себя, а не для чужого дяденьки, и с меня было достаточно. И спросите вы меня: получил ли я то, что мне полагается. Да, братцы, получил полностью. Я, когда работал на молотилке, знал, что это надо для меня, тебя и всех нас, а когда учился и работал по живописи, то для своей души жил, для своего светлого праздника. У каждого, братцы, должен на душе праздник быть. Вот меня сегодня приумыли, чистую сорочку надели и полы помыли, а я свои этюды пересмотрел, и, знаешь, со всем этим у меня по душе праздник прошел. Надо, братцы, надо, чтоб душа в грязи не всегда валялась. Пусть они говорят, что я не умел там, на выставках, – это правильно: не умел, а и то правда, что я любил. Я, братцы, любил всякую травку и козявку и любил смотреть, как другие это любят. А вот, видите ли, не сумел рассказать, что хотел. Вот что: когда люди кончают свои дела

здесь, на земле, так пишут завещания, и я вот скажу вам завещательное слово, а вы им, ребяткам, что учатся, передайте.

Он повернулся ко мне, и я увидел у него особенные глаза. Был ли то отблеск склоняющегося к вечеру солнца или от горения его духа, но глаза светились, как две голубые звездочки.

Он продолжал говорить медленнее и еще более тихим и сосредоточенным голосом.

– Да, скажите им, чтоб они любовно жили, а не гнались за барышами. Это ничего, что они там не сумеют, но чтоб любили то, что делают. Для них будет радостно, и другой, кто поймет их, с ними порадуется. Фокусники сейчас в искусстве разводятся – пустое дело! Они и умеют, да черту душу продают. А вы скажите, чтоб они для себя ее приберегли. Вот и все, а я, братцы, на покой иду, как полагается.

Луч солнца с пола поднялся на его постель, прополз по подушке к бледному лбу и потух в оранжевом пятне у изголовья. Пришла пора проститься и уйти.

Я уехал из Москвы, и Волгужева похоронили оставшиеся там товарищи.

Мне потом казалось, что мы не поняли Волгужева, требовали от него того, о чем он и не думал. Мы не рассмотрели в его серых этюдах его искренней крестьянской души, правдивого рассказа. Мы проглядели его чистую, бескорыстную любовь к искусству и не оценили принесенной им ради искусства великой жертвы.

Позднеев в Петербурге работает у Маковского, старается выкарабкаться из тины. Но его тянет вниз постоянный недуг. И здесь он после беседы с бутылкой воюет с бутошниками, защищая интересы извозчиков, продавцов с лотка и всех имеющих соприкосновение с полицией.

Академия решила помочь Позднееву. Ему отпустили достаточную сумму денег и поместили в какую-то лечебницу. К удивлению всех, он избавился от своей болезни, бросил пить, стал ожесточенно, точно в отчаянии, работать и появился даже у нас на выставке со своими вещами. В его картинах было видно большое, искреннее искание, усердная работа, но чувствовалась в письме и надорванность, усталость.

Сам он страшно изменился: стал замкнутым, молчаливым и даже угрюмым. С трудом можно было от него добиться нескольких фраз. О прошлом – больном – не заикался даже словом. Только в глазах чувствовалась растерянность и блуждал какой-то странный огонек.

Участвовал он на выставке год-два, потом вдруг скрылся с горизонта, и у кого я ни спрашивал – никто о нем не мог сказать

ни слова.

Корин, вернувшись из Парижа, с восторгом рассказывал об успехах в живописи последнего времени и о всех направлениях в искусстве. В его работах появилась новая нота, новая манера.

– Может, что скрал в Париже, – добродушно говорил Алексей Михайлович, показывая свои последние вещи, – да без того нельзя, надо хоть таким образом пересаживать их художественную культуру к нам, а то мы уж очень опростились и отстали от Европы. Только вот беда: посмотришь – захочется самому работать, а тут понадобятся заказы, и не дадут укрепиться на новых позициях.

– А ты, – говорю ему, – воздержись от заказов.

– Воздержаться? А как? Я уже въехал в эту жизнь, из которой нет возврата. Каждый стул, чашка, чайник с покрышкой уже привязали тебя к определенному кругу, обществу, которые требуют от тебя этой обстановки, и платья, и галстука. Требует и семья, так как у нее уже образовались определенные привычки. Помнишь картину Штука «Война»? Эту ужасную утомленную лошадь, шагающую по трупам? Мне кажется, что и у меня на шее сидит страшный Молох, который понукает меня и которого я должен везти и день и ночь, пока не паду на дороге или не приду к тому же концу, как Позднеев.

– А что, – спрашиваю, – с ним случилось, почему его не видно?

– Как что? Разве не слыхал, как он объявил себя обманщиком? Когда его вылечили, он работал, а потом и говорит: «Обманул я Академию и себя обманываю: как ни бьюсь, а вижу, что нет у меня того, что надо для искусства. В нем я просто лишний человек». И стал он тайком от доктора, который его лечил и следил за ним, снова пить, и это привело его к быстрому концу: он скоропостижно умер.

Влияние заказа сказывалось в вещах, писанных Кориным и после Парижа. Заученные приемы, как метла, заметали следы европейской живописи, в тонах картины часто сквозила общая охровая иконописная подкладка и мелкая колонковая кисть выдавала себя в проработке деталей.

Стряхивая с себя эту условность, Корин из-за своих декоративных работ впадал в другую крайность: слащавую красивость панно и плафона. – Как это так, что не поймешь своего места в жизни, – говорил Корин. – Нужен я или не нужен? Если я признан художником и меня отмечают приобретением моих вещей в музеи, то, казалось бы, должны мне дать и возможность

работать по искусству, а выходит не так: условия для работы я должен создавать другой работой, подрывающей мою чисто художественную деятельность. И кому предъявлять это право на свободную работу в искусстве? Правительству до нас мало дела, а общество требует только угождения. Значит, действительно так, что брошены мы в воду и должны сами биться и выплывать, топя других. И выплывающие не все долго удерживаются на поверхности, а большинство, как и я, должны, видно, тонуть от потери сил. Чувствую ясно ненормальность нашего положения при настоящем строе, а как его изменить – не знаю.

И Корин ищет для себя спасения, он хочет бежать от заказов, старается найти условия, при которых ему ничто не мешало бы заняться своим делом среди природы и людей. Как многие из художников, ищет своей скорлупы-собственности, тихой бухты для своего творчества. Он хочет строить свою дачу-мастерскую в деревне. А для этого снова надевает хомут, берет заказы, делает довольно крупный для него заем и начинает строить свой приют.

Но дорого он ему обходится: от чрезмерной работы, крайнего нервного напряжения Корин почти теряет зрение.

Какой ужас, особенно для художника! Ничего ясно не видит, все у него раздваивается. Навстречу идут по тротуару два человека, тождественно сходных, и он не знает, кому из них уступить дорогу, и сидящую за столом женщину он видит с мужскими чертами и бородой, которая перешла к ней от соседнего мужчины.

Наступило отчаяние.

Пришлось Алексею Михайловичу оставить на время преподавание в Училище и заказы и заняться лечением.

Постепенно, благодаря покою и отдыху, нервы его стали приходить в порядок и начало возвращаться зрение.

Он оживает, радуется выздоровлению, но прежнее спокойствие, добродушие, мягкость характера уже нарушены. В голосе его слышатся раздражительность и часто тоскливая, просящая нотка мольбы: дайте же мне отдохнуть!

– Я как будто догадываюсь, в чем наше несчастье, – говорил Корин, – Очевидно, во мне, как и в других, подобных мне, вложено мало весомого от искусства – таланта, что ли, который поэтому и оплачивается мелкой монетой, недостаточной для жизни. Мы – малоценная посредственность – должны жить в черном теле, обитать в Ляпинке, в тесных номерах, и только для этого хватит нашей оплаты. Словом, по Сеньке и шапка, а мы возомнили о себе и переступили смету, на нас отпущенную, залезаем в долги, на покрытие которых должны работать в стороне от искусства. Сами виноваты, хотя от этого сознания не

легче. Ох, как хочется отдохнуть!

Дачу свою он все же достроил, выплачивал постепенно за нее долги и спрятался в нее, как улитка в раковину, от городских треволнений и заказчиков, которые одной рукой платят ему деньги, а другой душат его талант и возможность проявления свободного творчества.

В деревне, в своей мастерской, среди природы у него действительно наступает некоторое спокойствие и временный отдых. Он ведет даже маленькое хозяйство – обрабатывает огород, косит сено. Здесь же в 20-х годах находит, наконец, свой полный и вечный покой.

Примечания

Корин Алексей Михайлович (1865–1923) – живописец-жанрист. Из палехских иконописцев. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества у В. Г. Перова и И. М. Прянишникова. Впоследствии там же преподавал. С 1891 г. до своей смерти участвовал на передвижных выставках (член Товарищества с 1895 г.).

… в семнадцать лет поступил в училище… – неточность. А. М. Корин поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества в 1884 г., т. е. девятнадцати лет.

Сорокин Павел Семенович (1839–1886) – художник, эпигон позднего классицизма. Участвовал в росписи храма Христа-Спасителя в Москве. Преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

Волгужев Иван Алексеевич (1862–1899) – живописец. Состоял учеником Московского училища живописи, ваяния и зодчества с 1889 по 1899 г. Получил звание неклассного художника в год смерти.

Позднеев Владимир Иванович (1867–1912) – живописец-жанрист. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и в Академии художеств. Участвовал на передвижных выставках в качестве экспонента с 1902 по 1906 г.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – философ-идеалист, богослов.

Картина А. М. Корина *«Больной художник»* (1892) находится в Государственной Третьяковской галерее.

Кормон Фернан (1845–1924) – французский исторический живописец и портретист, профессор парижской Академии художеств.

Андреев Николай Андреевич (1873–1932) – выдающийся советский скульптор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Учился в Строгановском училище и в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. На передвижных выставках выступал в 1902–1907 гг. (с 1904 г. – член Товарищества).

Выполнил ряд скульптурных и графических портретов советских государственных деятелей, руководителей международного рабочего движения, выдающихся деятелей русской культуры, создал памятники Н. В. Гоголю и А. Н. Островскому в Москве. Вписал свое имя в историю советского искусства созданием «Ленинианы» – замечательной серии портретных изображений В. И. Ленина.

Ипполитов-Иванов Михаил Михайлович (1859–1935) – композитор и дирижер.

Эпизод с приходом И. А. Волгужева на открытие памятника Н. В. Гоголю – ошибка памяти Я. Д. Минченкова, так как памятник был поставлен в 1909 г., а Волгужев умер в 1899 г.

Богатырев Иван Семенович (род. 1864) – живописец-жанрист. Учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и в Академии художеств. Выставлялся в 1890-х и 1900-х гг. на периодических выставках Московского общества любителей художеств.